

Яков Бутков

Горюн



ЯКОВ БУТКОВ

Горюн

«Public Domain»

1847

Бутков Я. П.

Горюн / Я. П. Бутков — «Public Domain», 1847

«Герасим Фомич был петербургский туземец, что редко случается с петербургскими обывателями: они, большею частию, переселенцы, выходцы из разных стран и племен, вследствие разных житейских обстоятельств. Предок Герасима Фомича был саратовский киргиз, приехавший в Петербург на две недели, которые считал он по-своему, по-киргизски, достаточными для решения тяжбы его с низовским земством о баранах, отнятых у него и присужденных к пожизненному заключению в овчарне уездного воеводы за дерзостные их рассуждения о предметах, поставленных выше простого бараньего разумения. Киргиз, подобно другим людям, приезжающим в Петербург с тою же целью, также на две недели, ошибся в расчете: он не только и в десять лет не дождался решения судьбы своих баранов, обличенных в преступлении, но даже вынужден был принести в жертву Фемиде и тех баранов, которые вовсе не были под судом. По этой причине он пришел в отчаяние, женился на чухонке и произвел человеческое существо, названное немцем. Немец, в свое время, женился на дочери портного и произвел польского шляхтича, который, сочетавшись законным браком с кухмистершею, был виновником жизни обыкновенного петербургского гражданина, русского человека и папеньки Герасима Фомича...»

© Бутков Я. П., 1847

© Public Domain, 1847

Содержание

I	5
II	7
III	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Яков Бутков

Горюн

I

Герасим Фомич был петербургский туземец, что редко случается с петербургскими обывателями: они, большею частию, переселенцы, выходцы из разных стран и племен, вследствие разных житейских обстоятельств. Предок Герасима Фомича был саратовский киргиз, приехавший в Петербург на две недели, которые считал он по-своему, по-киргизски, достаточными для решения тяжбы его с низовским земством о баранах, отнятых у него и приговоренных к пожизненному заключению в овчарне уездного воеводы за дерзостные их рассуждения о предметах, поставленных выше простого бараньего разума. Киргиз, подобно другим людям, приезжающим в Петербург с тою же целью, также на две недели, ошибся в расчете: он не только и в десять лет не дождался решения судьбы своих баранов, обличенных в преступлении, но даже вынужден был принести в жертву Фемиде и тех баранов, которые вовсе не были под судом. По этой причине он пришел в отчаяние, женился на чухонке и произвел человеческое существо, названное немцем. Немец, в свое время, женился на дочери портного и произвел польского шляхтича, который, сочетавшись законным браком с кухмистершею, был виновником жизни обыкновенного петербургского гражданина, русского человека и папеньки Герасима Фомича.

Этот Герасим Фомич был мальчик резвый, бойкий и остроумный: кричал, шалил и краткой российской азбуке учился не по летам; притом оказывал склонность к изящным художествам, рисуя углем лошадок, и к воинским подвигам, приколачивая мальчиков постарше себя, – вообще дарования обнаруживал необыкновенные, и потому был утешением, гордостью и надеждою своего папеньки, который часто, слушая, как он, зажмуря глаза и крича во всю мочь, зубрил урок, – думал про себя: «Выйдет человек!» а иногда за обедом, взглянув на хрустальную посудину, стоявшую перед ним в качестве приятной собеседницы, смягчал решительность своего заключения некоторым условием: «Только бы этого нетово... этого бы только не употреблял, а то все – ничего: будет человек!»

Тогда, в отеческой заботливости о благополучии своего сына, он обращался к нему с следующим мудрым наставлением: «Ты не смотри, что я сам... тово, ты – себе свое дело знай, так и будешь человеком и далеко пойдешь! Только не употребляй этого, так и далеко в люди, в гору пойдешь, когда все будут знать, что ты трезвого поведения. Никогда не пей! И если тебя потчевать станут – не пей, так и говори, что не пью, мол, и здоровье не позволяет! Да, говори, что здоровье не позволяет, и не пей; твори сие и будешь благополучен!»

После одного из таких наставлений, зная, что ученье свет, а неученье тьма, папенька отдал своего сына в школу, а сам, прилегли однажды после обеда на кожаном диване для обыкновенного получасового отдохновения, вовсе неожиданно скончался навеки. Такое приключение может случиться со всяким, и история не смеет входить по этому случаю ни в какие рассуждения. Человек предполагает, а судьба располагает.

У Герасима Фомича давно уже не было маменьки. Теперь, когда у него не стало и папеньки, он поступил под покровительство какого-то человеколюбия в виде отставного коллежского регистратора, по ремеслу опекуна чужих сирот и имений. Это человеколюбие отвело Герасиму Фомичу для жительства маленький чулан на антресолях в своей квартире, каждое утро и каждый вечер давало ему чашку чаю, кормило его вместе с своими детьми и вообще обходилось с ним несколько времени снисходительно и ласково, почти так же, как и папенька;

потом несколько переменялось: стало называть его дураком и давать ему хотя полезные, однако весьма чувствительные советы помнить чужой хлеб да учиться зарабатывать свой хлеб.

Школьные товарищи обращались с ним также без церемонии: то прятали от него книги, без которых он не мог выучить урок, то отнимали у него завтрак, то просто смеялись над ним, не обращая внимания на некоторое место, называемое карцером; а когда он после нескольких неудачных попыток сопротивления им с безмолвной горестию стал удаляться от сообщества с ними, его прозвали Горюном. Поставленный в такие неприятные отношения к человечеству, он совершенно растерялся и не мог понять, что это значит: обижают ли его понапрасну и он должен плакать, или ему только так кажется, будто его обижают, а в самом-то деле и не думают обижать, и ему не о чем плакать?..

Время шло. Герасим Фомич из мальчика сделался юношею. Курс учения его оканчивался, а он все еще не разрешил своих недоумений насчет обхождения с ним человеколюбия и товарищей, зато, впрочем, совершенствовался в повелении и нравственности, привыкая со дня на день к спасительной боязни всех и каждого.

Все товарищи Герасима Фомича имели папенок и маменек; у иных были даже тетеньки и дяденьки, что еще лучше во многих житейских случаях. Один он был всем чужой; о нем одном никто не заботился; некому было порадоваться его успехам в науках; никто с радостными слезами не обнимал его, когда он выдерживал трудный экзамен; а когда после экзамена другие весело танцевали на бале с родными, двоюродными и троюродными сестрицами, он уединялся в своей каморке, смиренно думая: «Что мне там с ними! Пусть они себе что хотят, а мне здесь лучше будет...»

В грустном раздумье о невыгодах своего существования он вспомнил одну аксиому, открытую и провозглашенную учителем чистописания, который, между прочим, исправлял безвозмездно и должность учителя истории, в чаянии принести пользу другим и сделать себе карьеру; эта аксиома заключалась в том, что всякий человек имеет свое назначение в обществе.

«Какое же я имею назначение? – спрашивал себя иногда Герасим Фомич. – Вероятно, я тоже имею какое-нибудь назначение. Почему же и не иметь? Или я до такой степени хуже других? Или у меня не было папеньки и маменьки, как и у других? А может быть, в том и назначение мое, чтоб терпеть от всех разные неприятности, не обижая никого, не слышать ни от кого доброго, приветливого слова, не сметь никому сказать что-нибудь сильное, справедливое: что вот, дескать, так и так... за что вы меня обижаете? кто вам дал право обращаться со мной дурно? я, дескать, уж не ребенок, – в другой раз и сам отплачу! Ты себе там будь опекун опекуном, а жестокостей употреблять со мною не смей – и закон запрещает! А вы себе хоть и имеете папенок, и маменек, и сестриц, и тетенок, которые ласкают вас и нежат, но меня не трогайте. Я вам ничего не сделал, так и не трогайте меня, не труните надо мною, не называйте меня горюном!»

II

Как ни велик был Герасим Фомич по таким капитальным добродетелям, каковы: терпение, кротость и трусость, он все-таки не мог бы достигнуть совершенства в доброй нравственности и примерно хорошем поведении, если б не застегивал своего кафтана на все пуговицы. В этом отношении он простирает свою точность, или, справедливее, нравственность, до педантизма. Зато по окончании курса учения он был выпущен на поприще гражданской деятельности с отличным аттестатом, и имя его было начертано золотыми буквами на мраморной доске, в пример и поощрение прочему юношеству, которое легкомысленно стремится к познаниям нараспашку.

После того на упомянутом поприще гражданской деятельности явилось хотя и новое, однако весьма обыкновенное лицо, всегда встречаемое в Мещанских и Подъяческих улицах, а в некоторые дни и на Невском проспекте. Это лицо было – Герасим Фомич, и имело следующие приметы: рост средний, лицо без определительного выражения, изжелта-бледное, волосы и брови цвета нюхательного табака знаменитого Бобкова, стан немного сутуловатый, взгляд на все вообще предметы скромный, на некоторые робкий, на иные совершенно раблепный; поступь не совсем величественную, но и не плебейскую, именно такую, которою одни доходят до степеней известных, а другие только до богадельни.

И стал жить Герасим Фомич честным трудом, не завися от какой-нибудь исключительной личности или страстишки и не сетуя на некоторые неудобства, вообще свойственные быту рабочего класса.

Школьная опытность внушила ему благое нерасположение к дружественной короткости с людьми, с которыми случай поставил его в отношения. По этой причине он не заводил связей с сослуживцами, пугливо удалялся от кружка молодых кандидатов на хорошие места, не входил в нескромные рассуждения о прогрессе, о Западе, о человечестве, которые так хорошо знают сочинители докладных записок, и думал свою думу: «Пусть они себе толкуют, что хотят, – не мое дело! Так лучше будет – не мое дело, да и только! Мое дело вот: прийти пораньше, да засесть за стол, да и писать, и записывать, и переписывать, а если велят сочинить что-нибудь, то и сочинить... да, и самому, из своей головы, сочинить можно что-нибудь, если велят; а не велят, так и знай свое дело: пиши, да записывай, да переписывай. Так лучше будет; право, лучше будет!»

Иногда, впрочем, трудно ему было одолеть искушение, увлекавшее его к другому образу жизни, в сообщество с кем-нибудь, хотя с своими соседями по службе. Иногда хотелось ему поразговориться с ними, заметить им кое-что по случаю решительных суждений их о Каратыгине¹ и Роберте Пиле², даже уничтожить некоторые канцелярские авторитеты и, следовательно, стать самому авторитетом – из незаметного писательного орудия, творящего дело свое в молчании, сделаться человеком значащим, имеющим свой взгляд, свои мнения и убеждения. Но каждый раз, когда отваживался он уступить стремлению своего самолюбия, спасительная робость оковывала язык его, охлаждала воображение, он возвращался к прежнему безмолвию и выводил про себя спокойное умозаключение: «Так лучше будет! Пусть они там... пусть! А я себе в стороне, а я так, издали буду смотреть на них. До меня ничто не касается!»

И привык Герасим Фомич к совершенному отчуждению от волнений и интересов жизни, привык механически заниматься тем, что на петербургском наречии называется делом, потом обедать, потом скучать, наконец спать. Этот род существования, пошлый и вместе удобный, сливет спокойною, регулярною жизнью, и эта жизнь, предмет надежд и зависти большинства

¹ Каратыгин В. А. (1802–1853) – знаменитый русский актер-трагик.

² Роберт Пиль (1788–1850) – английский государственный деятель, из крупной буржуазии.

человеческого рода, досталась в удел Герасиму Фомичу не по какой-нибудь счастливой случайности, а вследствие благоразумного и совершенно нравственного его поведения.

Здесь нельзя не отдать справедливости так называемым маленьким людям и ничтожным обстоятельствам: хотя человеческое самолюбие и отрицает важное влияние их на различные явления в нравственном мире, однако оно существует, это влияние, самостоятельно и очевидно. Правда, человеку приятнее зависеть от непреодолимого деспотизма рока, в котором предполагается необъятность могущества, постоянство цели и воли, нежели от жалкой тирании погоды, кредиторов, друзей и даже врагов, в которых не предполагается ничего и не может быть ничего; но все-таки его значение, характер, горе и радости непосредственно определяются отношениями его к людям и обстоятельствам упомянутого ранга. Эти-то отношения, возвеличившие столько ничтожеств, уничтожившие столько величий, создали Герасима Фомича таким скромным и ни во что не вмешивающимся гражданином, каким старается изобразить его предлагаемая беспристрастная история, а люди с добропорядочным поведением, как известно, никогда не пренебрегаются фортуною: они и живут хорошо, в почете и довольстве, и умирают солидно, оставляя по себе вечную память – в петербургских «Ведомостях».

Так думал однажды сам Герасим Фомич, возвращаясь из Екатерингофа, куда ходил он по случаю благодатного сочетания праздничного дня с первым числом. Это было часов в семь летнего вечера. Удовольствие прогулки и приятная перспектива ужина и прочего, соответственного значению первого числа, сделали его восприимчивее, мечтательнее, чем он бывал обыкновенно. Если б в ту пору он встретил кого-нибудь из знакомцев, то заговорил бы с ним, против обыкновения, о самых опасных предметах, даже признался бы ему откровенно, почему он так молчалив и робок; но знакомцы не встречались; притом же Герасим Фомич во-время вспомнил, что он ни с кем в искренних приятельских отношениях не состоит, а так только знает кое-кого по имени да по делам, то есть по сплетням на его счет. С такими людьми, конечно, надобно быть осторожным и вовсе не входить в суждения и откровенные объяснения: знакомцы и друзья вообще расположены к предательству. «Но точно ли вообще? – спросил сам себя Герасим Фомич, невольно и сильно почувствовав неудобства вечного одиночества. – Так, хорошо, конечно, держаться в стороне от всего, – думал он: – никто тебя не тронет, никто не обидит! Но разве для того только и сходятся люди, чтоб обижать одному другого? Вот если б у меня была компания! Почему же и мне не иметь своей компании, или приятеля хорошего, или даже, как у других... Ну, это уж... нет! Своего брата приятеля было бы достаточно, чтоб пойти вместе, компанией, в Екатерингоф или на Невский, погулять и потолковать... да! почему ж и не потолковать, если это ни до чьей амбиции не касается, если это делается не для нарушения общественного спокойствия, не из карбонарства какого-нибудь, а просто для приятного препровождения времени, для невинного удовольствия! Точно, потолковать о чем-нибудь, посудить... и посудить можно! Но вот в чем затруднение и горе: сегодня ты толкуешь и судишь с приятелем без всякого злого намерения, а завтра о тебе толкует и судит приятель с намерением, а послезавтра молва о тебе идет, что ты человек рассуждающий, и начинают уже смотреть на тебя и трактовать тебя не как скромного, ни во что не вмешивающегося гражданина, а как человека, который любит толковать, рассуждать, судить... Вот в чем затруднение! У нашего брата есть, можно сказать, некоторого рода подлость – лицемерие, двуличность, предательство, лживость и склонность к нанесению обид ближнему. Вот это только и нехорошо в людях, а не будь в них этого, их можно бы любить и уважать, как бог велел. Не будь в них этого... о! тогда не нужно бы бояться их, избегать не только знакомства, но и каких-нибудь сношений с ними! А между тем во всех книгах пишут, что человек создан для общества! А общество-то и съедает человека, общество-то и делает его эгоистом, ростовщиком, горюном! Общество...» Здесь размышления Герасима Фомича пресеклись. Почти рядом с ним шли две женщины: одна старуха, в темном ситцевом платье, в чепце, с очками на носу и немало подержанным ридикулем в руках; другая, как он с первого взгляда решил, девица. Судя по скром-

ному наряду ее и по способу пешеходного возвращения из Екатерингофа, не было сомнения, что она принадлежала к числу горожанок немецкого или благородного сословия; но чистота, правильность и нежность ее лица, тонкость бровей, выражение детского простодушия и женского лукавства в голубых глазах, прелесть темных локонов, свободно развевавшихся из-под соломенной шляпки, маленькие ножки, обутые в черные бархатные башмаки, наконец чистый, серебряный голос – все эти качества, редко соединяющиеся в одном коломенском существе, давали ей преимущество пред многими господами, катавшимися в прекрасных экипажах, величественно лорнировавших пешеходов и ее. Герасим Фомич невольно приковался глазами к этому лицу и смотрел на него с наслаждением и восторгом. Он шел в двух шагах от прекрасной незнакомки, то вымышляя наилучший способ быть ею замеченным с хорошей, как говорят, стороны, именно со стороны терпеливости и добропорядочного поведения, то пугаясь одной мысли, что она может заметить его с какой-нибудь другой стороны, например со стороны его приличного костюма или несовершенного умения обращаться с прекрасным полом, что могло бы выказать его не вполне светским человеком.

«Нет! – решил он наконец. – Так лучше будет. Пусть она себе идет, а я тут себе, в сторонке, своею дорогою пойду и буду смотреть издали. Всегда лучше держаться в стороне... Конечно, здесь было бы приятнее идти вместе. Но нельзя же мне пристать к ней! Вот, относительно к женскому полу, я не знаю, как быть... это не то, что мужской пол. С женским полом не страшно, кажется, иметь знакомство. Правда, женский пол тоже любит позлословить, посмеяться, потешаться насчет ближнего, но он не станет распускать соблазнительной молвы, что этот, дескать, ближний, такой-сякой, свои рассуждения имеет. Вот почему женский пол лучше, благороднее нашего мужского пола, и если б у меня достало смелости... Эх, горе мое, горе! Одно-то нет у меня свойства, самого капитального и во всяких обстоятельствах полезного свойства – смелости, совершенной смелости, до отваги, а в иных случаях до самой дерзости доходящей! Потому-то я и живу как-то странно, особняком таким, а между тем всякий человек должен жить в обществе... И мне надобно бы войти в общество, знакомство завести... Что, если б я познакомился с нею?.. О, какое счастье! Поговорить с нею только, посмотреть на нее... какое лицо! Какие глаза!»

Герасим Фомич все более и более покорялся магнетической силе глаз незнакомки. Его сосредоточенность на одной идее отчуждения от людей и нечувствительность ко всему, не касавшемуся так называемой личности, исчезала. Волнение крови развивало его воображение; он стал мечтать, но не так, как всегда мечтал: прежде, создавая картину фантастического блаженства, он видел в ней себя огражденным от всех интриг, личности и ударов судьбы и людей; теперь идея блаженства изменилась: он почувствовал, что нехорошо человеку быть одному на земле, как бы ни была неприкосновенна его личность, и что очень хорошо быть человеку в двух экземплярах... Ему казалось, что он встретил, наконец, что-то недостававшее для полноты его существования, придававшее этому существованию дотоле не открытый им смысл и неизведанную прелесть; он увидел, что жизнь его была так мутна и холодна потому только, что он водился с одною холодною половиною человеческого рода, которая возбуждала в нем своими кознями тоску и боязнь, и не знал другой, светлой половины, могущей одним взглядом осчастливить самого измученного мизантропа.

В безмолвном созерцании своего кумира Герасим Фомич прошел длинный Екатерингофский проспект, будучи расположен следовать и далее, хотя бы за Выборгскую заставу; но, к прискорбию его, обе женщины остановились у подъезда одного дома в ту самую минуту, когда он думал, что они пройдут по крайней мере всю Садовую. По неодолимому увлечению, он приблизился к незнакомке и смотрел на нее молча, в забытии, в упоении. Вдруг она засмеялась чему-то и скрылась в коридоре. Тогда он перешел на другую сторону улицы, остановился насупротив дома, в который вошла незнакомка, и стал смотреть в окна, ожидая, что еще увидит ее.

И точно, через несколько минут в трех окнах четвертого этажа показался свет, потом мелькнули две тени, потом спустились шторы на окнах, и Герасим Фомич остался на проспекте один, взволнованный, очарованный и неподвижный, пока не столкнул его с тротуара на мостовую прохожий неспраздношатавшийся кавалер.

III

Доселе Герасим Фомич представлял нам высокий идеал человека, ни во что не вмешивающегося, скромно идущего по жизненному пути к неведомому санктпетербургским обывателям пределу; но теперь беспристрастная история должна заметить странное уклонение его от пути столь похвального и прямого: никак нельзя было ожидать, чтоб он, смиренный на деле и в мыслях, насмотревшийся на человечество обоюбого пола во время прогулок по Невскому, мог быть увлечен такою обыкновенною встречей, как та, которая описана в предшествующей главе; а между тем это предосудительное увлечение случилось действительно. Таинственная незнакомка вызвала его из счастливого состояния апатии и оцепенелости: сердце его, всегда спокойное, вдруг забилося, заходило, подобно часовому маятнику: воображение, дотоле охлаждаемое опытностью, закипело, расцветилось роскошными картинами, какими оно вообще имеет обыкновение соблазнять человека, когда сорвется с тяжелой цепи рассудка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.